

Сильвен

ТЕССОН

# ДОВЕРЬСЯ ЖИЗНИ

рассказы



18+



Коллекция Бегбедера

Сильвен Тессон  
**Доверься жизни**

ИД «Городец»

2014

УДК 821.133.1-32  
ББК 84(4Фра)-44

## **Тессон С.**

Доверься жизни / С. Тессон — ИД «Городец»,  
2014 — (Коллекция Бегбедера)

ISBN 978-5-907085-88-6

Книга рассказов «Доверься жизни» впервые издается на русском языке. Это возможность увидеть не только Париж, но и Алжир, Китай, Афганистан. Проплыть по великой сибирской реке Лене, прыгнуть с парашютом, подняться на одинокую скалу, стоящую в пустыне Сахара, и упасть с высоты третьего этажа, спускаясь от любовницы по стене дома, потому что ее муж уже стоит у двери. Вечные романтики, любовники, путешественники, писатели, реконструкторы, альпинисты – герои рассказов столь различны, но через них, если приглядеться, всегда проступает и сам Сильвен Тессон, жадный до новых открытий, неизведанных мест, никогда не устающий и не останавливающийся, как сама жизнь. А для его героев она порой приобретает причудливый, смешной, странный, загадочный, а иногда и пугающий оборот, и тогда им не остается ничего, кроме как довериться ей – жизни.

УДК 821.133.1-32

ББК 84(4Фра)-44

ISBN 978-5-907085-88-6

© Тессон С., 2014  
© ИД «Городец», 2014

# Содержание

Влюбленные	6
Плотина	9
Водосточная труба	14
Изгнание	18
Конец ознакомительного фрагмента.	24

# Сильвен Тессон

## Доверься жизни

© Éditions Gallimard, 2014

© Т. Петухов, перевод на русский язык, 2020

© ИД «Городец», издание на русском языке, оформление, 2020

\* \* \*

### *Бенедикту*

*Мы будем умирать в одиночку. Значит, нужно поступать, как если бы мы были одни.*

**Паскаль. Мысли<sup>1</sup>**

*Некто удивлялся тому, как легко ему идти путем вечности; а он стремглав несся по этому пути вниз.*

**Франц Кафка. Размышления об истинном пути<sup>2</sup>**

*Суэта казалась ему способом все устроить.*  
**Дриё ла Рошель. Болотные огни**

---

<sup>1</sup> Пер. Ю. А. Гинзбург. (Здесь и далее, кроме особо оговоренных случаев, прим. перев.)

<sup>2</sup> Пер. С.К.Апта.

## Влюбленные

*Так они менялись по очереди, кому умирать; и возник вопрос – абсурдный, быть может, – нельзя ли было, хоть чуть-чуть, и в жизни так.*

*Людвиг Холь. Восхождение*

Реми с Каролиной? Сорокалетние парижане, вроде тех, про кого сорокалетние парижане пишут романы. Я знал их обоих еще до того, как они встретились и как все стали говорить «Реми с Каролиной», привычно прибавляя «Каролину» к «Реми» и подразумевая «Реми», когда речь о «Каролине». «Реми & Каролина» – хорошая вывеска для ресторана натуральной кухни.

Я их и познакомил. Он – время от времени рисовал для воскресного приложения одной газеты. Она – волчица из «Голдман Сакс», чей род занятий я никогда не понимал, потому что не интересуюсь повадками хищников в бескрайних кондиционированных степях мировых финансов. Я знал ее с детства – она была лучшей подругой моей сестры, но потом та одумалась, а я унаследовал дружбу.

Дело было на вечеринке у этого болвана Джимми, который рисовал карикатуры на писателей для американской прессы и пытался пристроить свои никудышные политиканские каракули в левацкие газеты. Типичная вечеринка, где парижане изображают ньюйоркцев, широко улыбаясь, хлопая друг друга по плечам и наливая скотч, но в слишком тесных для такого самобмана квартирах. Все подышали со скуки, но и не думали спать. Мы боялись состариться, а потому не смыкали глаз – вдруг морщины прорежутся. Это был ночной караул – мы караулили свои жизни. И бдение превращалось в бессонницу. Торчать в этой квартире как истуканы означало признать, что дома ничуть не веселее, поэтому всем было немного стыдно, что они не едут домой. В какой-то момент я сказал: «Каролина, это Реми, он художник; Реми, это Каролина, она живет в банке, пока не ограбят». Она сказала что-то любезное, вроде: «Ваши автопортреты, должно быть, хороши». Он же смотрел на нее как камбала со дна пересохшего Арала, потому что никогда не умел говорить, когда нужно, и потому что был очень пьян, а она – очень красива. Я оставил их, поскольку почувствовал, что так надо. И больше они не расставались, что было непостижимой загадкой, и мы высказали немало предположений на этот счет, когда, вырвавшись наконец на волю, сидели и макали арабские лепешки в восточные соусы в заведении одного маронита с улицы Сантье.

Северный и Южный полюс объединяет одно: их пронзает земная ось. У Реми с Каролиной не было общей оси – только притяжение противоположностей. И эта аномалия скрепляла их, как раствор – кирпичи. Его приводило в восторг «Фанданго» Падре Солера, она билась в конвульсиях под Дэвида Боуи. Он считал клавишин демоническим инструментом. Она прибавляла звук (обрывая Реми на «прообраз электрического экстаза техно – в щипках спинета...»), и стекла в их квартире на улице Богренель дрожали от сливающихся потоков Pin Ups<sup>3</sup> из глотки бойкого зомби. Она говорила, что вся мировая литература была только подготовкой читателей к приходу Стендаля, он же восхищался Рамю. Она напоминала кристалл, его будто слепили из глины. Она – лицо зеленоглазой волчицы, фарфоровая кожа. Он – лицо желтоватое, лунновосковое, и вид как у спаниеля, бредущего с охоты ни с чем.

Для нее идеальная фраза должна звенеть как муранская ваза под ударом хлыста в сухой и ветреной итальянской ночи. Он же бубнил Пеги: александрийский стих, откуда грязь сочится на сгибе двух полустипшии. Порой Реми заставлял Каролину слушать, как он читает «Ковер

---

<sup>3</sup> Альбом Дэвида Боуи, в эпоху его выступлений в образе «Зигги Стардаста».

богородицы» под тибетские мотивы, полагая, что гул гималайских мантр сочетается с нудной жвачкой Пеги про «окровавленную расу» и «плодородную борозду». Он про все строил теории, она наблюдала. Стоило чему-то случиться, он искал в памяти, на что это похоже. Она все превратности жизни стремилась назвать по-новому. Он цитировал книги. Она не помнила ничего, кроме единственного афоризма Жюль Ренара, почерпнутого из его «Дневника»: «То слова человека, который прекрасно объясняет, но ни разу не испытал того, что объясняет». Он запоминал все, она старательно забывала. Он умел находить связь, она – смотреть. Он искал отсылки, она верила лишь в неповторимое. Он близоруко шурился, она терпеть не могла кротов, жила на свету и могла просто остановиться посреди улицы, закрыть глаза, подставить лицо солнцу и принять его свет как дар, возложенный на алтарь ее кожи.

Он пил бельгийское «Жюпиле», она признавала только вина долины Луары, их ясный песочный отлив, и туман, который струится к вискам, румяня щеки, опуская веки. Он медленно жевал огромные пережаренные стейки, она ковырялась в воке, как малахольный лемуриец.

Мечты, воспоминания, цитаты – он все записывал в маленькие черные блокноты. Ей эта житейская канцелярия была чужда. «Складываешь жизнь в гербарий, чтобы высохла?» – говорила она, когда заставляла его за тетрадами. Он записывал все, она не хранила ничего. Он пережевывал жизнь, она – скользила. Ему подошло бы вспахать землю, ей – лететь на коньках по зеркальным равнинам.

Постель раскрывает склонности. Каролина делилась со мной всем, будто мы были сослуживцы по 27-му полку Сопrotивления в Брив-ла-Гайарде. В кровати она любила урвать свое. Она опустошала партнера и называла это «постельным рейдом». Он? Любил медленное зажигание.

Помню ужины у Реццори, на бульваре Сен-Жермен. Каролина часто ходила на них за компанию с нью-йоркскими тружениками «слияния и поглощения», командированными в Париж. Этим никогда не знавшим нужды типам и в голову не придет, что можно зайти в бистро и слопать антрекот. Им надо, чтобы сок раковых усиков окроплял поверхность огуречного гаспачо. Впрочем, они и не ели. Они пили ледяной «Редерер», рассматривая пестрые россыпи закусок, которые набриолиненные юноши с узкими бедрами подносили на черных тарелках. Реми презирал это место, и, когда Каролина умоляла его приехать к ним, он покидал свою мастерскую через силу. Через полчаса после звонка он входил тяжелым шагом, с тускло-враждебным лицом, держа в руке мотоциклетную каску. Каролина махала ему загорелой рукой, и ее жилистое запястье звенело браслетами как лодыжки раджпутских танцовщиц. Он говорил, что лучше перекусил бы мясом с вином, и американцы таращились на него поверх очков в лаковых оправках, как будто он заказал рагу из яиц бородавочника.

Он был помешан на времени. Бег часов словно физически мучил его. Сумерки казались катастрофой. А рассвет вел новый день на заклятие. И только в полдень, когда мы топчем свою тень, – передышка. Он изгнал из своей мастерской настенные часы и никогда не носил механических. Он терпел только песочные, на жидких кристаллах и кварцевые, которые считали время в тишине своего хода.

В мастерской на улице Богренель стены были увешаны длинными, плотными, многослойными полотнами. Они являли собой его попытки запечатлеть длительность в густоте пейзажа. По крайней мере, так он говорил посетителям. На картинах над ледяными торфяниками растекались длинные белые полосы, что напоминало февральское утро на равнинах из ночных кошмаров. Картины цвета перегноя пахли виски. Он часами курил сигары, накладывая на свои акриловые тундры новые слои.

Каролина мечтала только о путешествиях. Самолет был ее вотчиной, раем с кондиционером. Она бы всю жизнь прожила в аэропортах. Чтобы вытащить Реми из Парижа, требовались нечеловеческие усилия. Он иногда соглашался на Голландию или Шотландию, на одну из

тех стран, где небо стремится загнать людей в ближайший паб, что созвучно его желанию бежать. Она любила колесить по охряным и жарким городам Тосканы или Марокко, исследовать каждую прожилку их улиц, внезапно вспыхивающих ослепительными площадями. Он впадал в спячку, она прыгала как блоха. Каролина нашла себе медведя, но не кусала его. Время? Ей было плевать, она им сорила.

Она смотрела новостные каналы, где экран разбит на мелькающие квадратики. В них политики поливали друг друга грязью на дебатах, число жертв арабского бунта бежало строчкой, а в левом углу мерцали котировки «Насдак». Цифры вбирали весь бардак мира. Она разделяла позицию журналистов новостных каналов, что фраза, в которой больше двенадцати слов, слишком длинна для зрителя. И говорила Реми, что ее мозг может одновременно анализировать десятки сообщений. Ее подвижные глаза работали как зонд, и она могла оценить все грани мира сразу. Взгляд в кубе. У нее – глаза мухи, у него – глаз циклопа. Она жила как в мозаике, он метался по евклидовой плоскости.

Когда он не писал, он читал марксистских философов Франкфуртской школы. Тогда Хартмут Роза опубликовал «Социальную критику времени». Реми позвонил Каролине на работу, чтобы зачитать: «Время, по своей сути, оказывается главным инструментом дисциплинарного общества». Она слушала, прижав «блэкберри» плечом к уху, и продолжала набирать мэйл для *CEO*, кидая в корзину красного дерева розовые стикеры и поглядывая на монитор Блумберг-терминала. Когда он добавил: «Ты прогнулась, моя дорогая, а я свободен, потому что не занимаюсь ничем, разве только встаю иногда ради пары мазков», она рассмеялась и ответила, что ей звонят по другой линии.

Он неделями крутил в голове формулу Хартмута Роза: «Как правило, кажется, что время, насыщенное разнообразными впечатлениями, проходит быстро, но в воспоминаниях оно представляется долгим. И напротив, лишенный впечатлений промежуток времени тянется как будто долго, но после кажется очень коротким». Он пришел к заключению, что только художники и влюбленные возвращают в себе чувство пребывания в «долгом времени», предаваясь «разнообразной» деятельности.

Напав на какую-то тему, он мусолил ее, не отступаясь: он искал ответы на свой временной вопрос, рылся в Блаженном Августине, пожирал Плотина. Она обращалась с идеями как кошка с мышами. Взять концепт, перевернуть, вытащить парочку мыслей, позабавиться с парадоксами и выбросить, распотрошив...

Встреча была для него вторжением, телефонным звонком, разломом в ровном течении тишины. Она любила работать в команде, любила ажиотаж в торговых залах во время рискованных сделок. Она облетала людей, как пчела цветы, вела три разговора сразу, не считая внутренних диалогов, а когда вечером закрывала глаза, под веками мельтешили лица, шли вереницы силуэтов, пока весь обоз воспоминаний не пропадал в подвалах памяти, куда она никогда уже не заглянет.

Они любили друг друга, удивляясь тому, сколько всего их разделяет. Их любовь – плод влечения к безднам. Они тянулись друг к другу через бескрайнюю степь, или, скорее, с разных берегов. А между – текла их жизнь.

Позавчера вечером они поехали на мотоцикле в Барбизон на ужин к родителям Каролины. И на всем лету врезались в зад фуры, которая встала на подъеме близ Савиньи-сюр-Орж. И в этой аварии наконец воздали друг другу должное.

Каролина выжила. Если верить врачам, следящим за ее комой, она может прожить еще сорок лет. Но уже не проснется.

Он же умер на месте.

## Плотина

*Царящее в современной технике раскрытие потаенного есть производство, ставящее перед природой неслыханное требование быть поставщиком энергии, которую можно было бы добывать и запасать как таковую.*

*Мартин Хайдеггер. Вопрос о технике<sup>4</sup>*

Свадебное путешествие было в моей семье традицией, отказаться от которой – немислимо. Считалось, что по успеху этого предприятия можно судить о том, насколько счастливым будет брак.

Мой прадедушка поехал с бабушкой в Камбре, где двоюродная сестра держала галантерейную лавку. Он пробыл там два дня. Купил супруге набор кружевных скатертей и поднялся на каланчу, где у него так закружилась голова, что он убежал обратно в свою пикардскую деревню свекловодов и вылез оттуда только затем, чтобы умереть от шрапнели на Сомме.

Мой дед в разгар Второй мировой отправился с бабушкой на велосипедах из Генуи в Марсель. Они рассказывали, как под вечер отчаялись найти хоть одну живую душу между Ниццей и Жуан-ле-Пен, во что нам с трудом верилось шестьдесят лет спустя, когда мы ехали по обезображенному супермаркетами берегу вдоль выставки людских телес.

Отец повез мою мать в Камбоджу. Потеряв в супе из лепестков лотоса свой фарфоровый зуб, она решила не открывать больше рот до самого возвращения в Сиенреап, где они нашли стоматолога. Так их союз ознаменовался долгим молчанием, которое впоследствии активно заполнялось.

Моя сестра с мужем отправились в испанскую Галисию, чтобы «окунуться в мир фэй и кельто-и-берских легенд», как она объявила всем. Через два дня они вернулись пришибленные, ругаясь на ларьки и торговцев жареной картошкой, оккупировавших побережье. Муж сестры сказал: «Мы ехали искать короля Артура с Мерлином, а там только “Леруа Мерлен”», и это был первый звоночек о его страсти к каламбурам, от которой мы столько натерпелись впоследствии.

Мы с Марианной познакомились на отделении Восточных языков в начале учебного года, который не предвещал мне ничего, кроме уныния. Она дописывала диссертацию по японскому, и пару раз я уже замечал в коридоре ее черные, раскосые, широко расставленные глаза, которые выделялись на бледном, даже мертвенно-бледном из-за рыжих локонов, лице. В чахлах сумерках январского утра я вел лекции по «Русской культуре» перед амфитеатром студентов, с которыми меня объединяло лишь одно: непонимание, что мы здесь забыли. Она случайно ворвалась в мою аудиторию, думая, что здесь ее пара. Она извинилась и хотела уйти, я пригласил ее сесть; не знаю, почему она согласилась – или подчинилась. Студенты оглядывались, она краснела, я читал лекцию для нее одной. Речь шла о специфике взаимоотношений казаков и таежных шаманов во время покорения Сибири и Дальнего Востока. «Изумительная нудятина», – призналась мне Марианна три недели спустя. Мы поженились в апреле, и, когда нас спрашивали, как мы познакомились, я отвечал, что Марианна ошиблась дверью.

Шесть месяцев безудержной страсти не охладили наш пыл. Верный семейной традиции, в июле я поставил вопрос о свадебном путешествии. Мы остановились на китайской провинции Юньнань. Решение принималось в жарких дебатах. Велись они в постели в воскресенье, омраченное крайне посредственной метеорологической обстановкой:

– В Россию! – предложил я.

---

<sup>4</sup> Пер. В. В. Бибихина.

– Ты видел, как Путин одевается? Русские психи, да и она слишком большая, мы поте-  
ряемся.

– Но я отлично знаю те края...

– Вот именно, нужно что-нибудь новое. Для нас обоих, – парировала она.

– Гренландия?

– Сам будешь искать чемодан для полярных мехов.

– Япония? – рискнул я наугад.

– Я там как на парах буду... Может, Пакистан? – предложила она.

После поездки в Марокко я стал питать отвращение ко всем этим исламским землям, где женщины, раздавленные виной за то, что осмелились жить, пресмыкаются будто на выжженной солнцем наковальне под возбужденными взглядами ненасытных мужчин.

– Ни за что! Местные парни раздавят тебя, как блоху, за то, что не закуталась в сто слоев мешковины.

– Тогда Китай.

– Идет! Но куда именно?

– В Юньнань!

Название провинции означает «Облачный юг», чего хватило, чтобы покорить Марианну. У нее была своя теория про субтропики:

– Там живешь как в природном увлажнителе воздуха. Очень полезно для кожи.

К тому же дистанция в десять часовых поясов защитит нашу страсть к взаимным ласкам от вторжений любящей семьи.

За две недели до вылета Марианна уже знала наизусть весь «Дао дэ цзин», и, когда я засыпал на ней весь в поту после секса, она частенько стряхивала меня и шептала: «Лучше не наполнять сосуда, чем желать, чтобы он оставался полон». Эту китайщину она всегда говорила со степенным видом мудрецов: так под маской посвященного скрывают бессмысленную заумь цитат.

Вечер перед отъездом мы потратили на то, чтобы купить два белых балахона в «Хлопковой лавке», потому что Марианна вычитала в «Рассказе о путешествии одного капуцинского священника в Поднебесной», что это самая подходящая одежда для передвижения в предмуссонной духоте. Я купил ей «Путешествие парижанки в Лхасу» Александры Давид-Неель, но в тот же вечер, после первой пары страниц, она заявила, что у этой исследовательницы Тибета явно сварливый характер и слишком поучительный тон, после чего пристроила книгу в библиотеку в гостиной и сунула в небольшой рюкзак, составлявший весь наш багаж, «Контрафимы» Поля-Жана Туле, более созвучные ее непринужденному взгляду на жизнь.

Этот сборник она забыла в Куньмине, в жуткой гостинице, где нас чуть не сожрали клопы. Марианна приободрилась после потери, только когда автобус, в котором мы сумели занять места, заехал на последний серпантин перед Фондянью, деревушкой на перепутье тибетских троп, окруженной вершинами в фирновых снегах, под шесть тысяч метров каждая. Вечерами в просветы зреющих на хребтах кучевых облаков виднелись сиреневые пирамиды: солнце пастельных тонов лизало лед, прежде чем уступить место ночи.

А дальше было волшебство, о котором мы и мечтали. Редко когда в путешествии удается прожить день так, как воображал себе до отъезда. Обычно путешествовать – значит разочаровываться в странах.

Мы мало ездили. Если запах и вид деревни нам нравились, мы останавливались там на два-три дня. Маленьких гостиниц было много, и кормили везде тем, что давала река. Скоро мы привыкли к рокоту Меконга, наш слух впитал и перестал замечать шум его мощных вод. И почему грохот реки не мешает спать, а человеческий храп – невыносим? Мы литрами пили желтый чай на деревянных террасах, нависших над пенистым Меконгом. Воды его несли шлак с Гималаев, взбивали грязь, и река была охряной от наносов. «Жидкая земля», – говорила

Марианна, зачарованно глядя на волны. Я обещал ей, что мы еще съездим туда, где река кончает свой путь в трех тысячах километрах к югу, к ее вьетнамской дельте, и там вспомним, что видели, как она рождается. «Реки как люди, – сказала она, – начинают жизнь с рева, а кончают спокойно, примирясь с морем, то есть со смертью».

– Это «Дао»?

– Нет, мое.

Светлая до рези в глазах зелень рисовых полей была усеяна пурпурными точками: головными повязками крестьян. Они балансировали на бортах рисовых террас, как канатоходцы. Некоторые вспахивали эти узкие полоски на буйволах, и мы не могли понять, как удалось поднять их туда, на амфитеатр идущих по крутым склонам ступенек. Гигантские бабочки садились Марианне на голову, неспешно помахивая крыльями. Контраст рыжих волос и бирюзы крыльев казался мне безвкусицей, и я подумал, что в том, наверное, и смысл рас: поддерживать цветовую гармонию. На черных и блестящих, как гагат, волосах китайнок эти чешуекрылые камни смотрелись бы куда эффектнее.

Мы лениво переезжали из деревни в деревню, автобус на узких дорожках поднимал тучи красной пыли. Муссон набирался сил. Но пока кучевые облака лишь играли, растворяясь в воздухе, как клубы молока в чашке «Эрл Грей». Огромные ватные замки скапливались к югу, набухали, зрели в небесной печи, но не проливались: пройдет еще недели две-три, прежде чем лопнут меха. Мальчишки, стоя на носах длинных деревянных лодок, закидывали сеть с грацией танцоров. Вечером наши хозяева готовили нам рыбу, и мы ели молча, вдыхая аромат Melissa, которой Марианна натирала кожу, спасаясь от ненасытных комаров. Они предпочитали кусать ее, а не меня, и я одобрял их вкус. Мы пили сычуаньские вина, слушали стрекот насекомых в тропической ночи, а потом занимались любовью на розовом песке пляжей, вволю крича под рокот волн.

Однажды вечером под гонтовой крышей постоялого двора одного тибетца, считавшего главной своей задачей убедить нас в превосходстве чая с топленным маслом над английским дарджилингом, мы познакомились с Сонамом. Ему было тридцать, и он приехал из Пекина. Там, в небольшом обеденном зале, где на гравюрах плясали неверные отблески масляных ламп, нас сразу поразило его лицо: скулы будто вытесаны резцом, кожа как граненая, глаза черные, хищные, ничего общего с мягкими алебастровыми лицами ханьцев. Он работал преподавателем французского в университете Куньмина и неделю сопровождал группу туристов из Лиможа. Под конец ужина он подошел к нам и спросил вполголоса, нет ли у нас книг на французском, которые мы можем ему продать.

Поля-Жана Туле мы потеряли еще в начале поездки, так что я подарил ему роман Мирчи Элиаде, Марианна же промолчала про свой французский «Дао дэ цзин», потому что привязывалась к книгам... Мы пригласили его выпить с нами чаю. Сонам сел за наш стол и, робко говоря на прекрасном французском, поведал нам свою жизнь. Его родители, крестьяне из Ганьсу перебравшись в пригороды Пекина и стали пролетариями. Он рассказал про учебу в университете, про то, как гордилась мать, когда он получил диплом, про то, как идет по чиновничьим рельсам его жизнь, и как блекло проходит юность в провинции, на окраине Китая, и о надежде когда-нибудь съездить в Европу.

– Вы надолго в Юньнани? – спросил он.

– До понедельника, – ответила Марианна.

– Короткое путешествие, – заметил Сонам.

– Да, зато далекое. Одно другое ищет.

– Вы ездили на плотину Трех ущелий?

И он рассказал нам, как двадцать лет назад власти Китая решили затопить территорию размером с две трети Франции, чтобы построить самую большую в мире плотину. Тысячи рабочих потянулись со всех концов страны. Некоторых везли сюда на принудительные работы

или в ссылку. Чтобы вместить наплыв армии рабочих, джунглевые склоны ошетились бетонными бараками, на пашнях выросли палаточные города. Дети рождались здесь и пополняли ряды, едва научатся катить тачку. Стройка поглощала людей, как ненасытный Молох. Это бесконечное людское море, вооруженное немногим лучше строителей пирамид, с лопатами, кирками и ивовыми корзинами, чтобы таскать землю, подобно полчищам муравьев, приступило к титаническому замыслу. Они рыли землю, разравнивали рельеф, вырубали леса, правили русло и возвели стосорокаметровую стену водохранилища одной силой мышц. Хозяева великой постройки знали, что недостаток машин легко компенсировать, если черпать из неиссякаемого человеческого моря. Подростки, немощные старики, беременные женщины повиновались крикам бригадира – на стройке те гремели, как приказы тюремщика. Когда требовались новые руки, по железной дороге накатывал людской прилив. Коллективные усилия возродили энтузиазм больших строек эпохи Мао, – по крайней мере, так твердили все государственные СМИ в новостях. Это был один из тех прометеевских проектов, на которые усыпленная регламентацией, парализованная сомнениями и отравленная ненавистью к себе Западная Европа была неспособна. «Три ущелья» должны сдерживать воды, отведенные ни много ни мало от реки Янцзы. Ее, великую реку, вьющегося дракона, священную артерию Поднебесной, должна была сдавить, обуздать, поработить воля инженеров, политиков и изголодавшегося по свершениям народа. Китайцы богатели, экономика набирала обороты, страна процветала, и потребность в электроэнергии росла взрывообразно. Вся нация была под напряжением и жаждала киловаттов. В светильнике нового Китая загорелась лампа. Пекин хотел свои Асуанские дамбы. Власти знали: чтоб народ не волновался, надо чтобы у него было чем осветить и обогреть дом да на чем сварить рис. Боги и подумать не могли, что полоса плодородных равнин послужит однажды для запуска турбин на гидроэлектростанции в угоду ненасытной нации.

Озера водохранилищ легли саваном на рисовые плантации, плоды упорства и гения предков. Ничего не осталось от этого лоскутного наряда полей, похожих на витражи. Они породили китайскую цивилизацию, заставили людей изобрести сложнейшие системы культуры. Тысячи квадратных километров древней мозаики поглотила вода. Вековые храмы, пещеры с буддистскими фресками, гектары девственных лесов – все потонуло под сорока миллиардами кубических метров потопа. И поныне, когда вечером Юньнаньское солнце с грусти бросается за западные хребты гор, чтобы не видеть этого ужаса, и миллионы людей одновременно включают свет в своих тесных квартирах, в их лампочках горит бескровным бледным светом частичка мертвой души главной реки Китая. Государственные мужи, бесконечно ценящие человеческую личность, не стали настаивать на затоплении местных жителей. Около двух миллионов крестьян переселили в бетонные многоэтажки, где они могли прибавить фонтаны собственных слез к водопадам плотины. Они, как и река, были лишь живыми мертвецами, запертными в русло новых стен.

– Я хочу это увидеть, – сказала Марианна.

– Ты интересуешься плотинами? – спросил я.

– Я интересуюсь всем, в чем есть сила и мощь.

– Я могу составить вам компанию, – сказал Сонам, – до понедельника у меня не будет занятий.

Весь следующий день мы ехали на автобусе по холмистым просторам. Холмы были косматые, с удручающей растительностью, а асфальт под колесами – в запущенной стадии разложения. Марианна спала, я считал однообразные километры. Сонам витал в своих мыслях. В городке Саньдоупин, первом оплоте великой стройки, чувствовались издержки взрывной иммиграции: здесь царил дух борделя. Собаки грызлись за старую шину, бродяги напивались «Циндао» на ступенях бетонных домов. Всюду мерцали вывески бильярдных клубов. Городок смердел насилием, даже пыль лежала как-то нервно. В окнах притонов мелькали проститутки. Самые милые деревеньки превращаются в гнездовье всякого сброда, едва из земли брызнет

капля нефти или покажется самородок. На автовокзале, в толкотне гудящих колываг, мы пытались найти такси. Сонам ввязался в ожесточенные переговоры с одним шофером, у которого опиум отнял все зубы и оставлял его в покое лишь на пару часов в день. Мы сели в «Субару». Марианна затолкала пустые бутылки под сиденье водителя. Нас ждал час серпантина под ароматы засохшей рвоты.

– Наверху у меня для вас будет сюрприз, – сказал Сонам.

Мы с Марианной, одурев от усталости, уже оставили надежды хоть куда-то доехать.

Наконец шофер остановил машину.

С вершины склона мы увидели море. Оно показалось внезапно, в просвете между деревьев. Бесконечная водная скатерть, наброшенная на мир, серебряное небо наоборот. Сонам тихо сказал:

– Одна из затопленных равнин. Это озеро – будущее южного Китая. Залог нашего прогресса. Так говорят по телевизору...

Шофер курил, присев на корточки у бампера. Ему было плевать на «будущее южного Китая». Мы не могли оторвать взгляд от залившей земли ртути. Угадывались прежние ложбины, крыши, выбоины и зубцы, теперь накрытые водой. Вода проникла в каждый зазор земной поверхности. Под этим зеркалом когда-то жил целый мир, звери, растения, люди. Может, и боги? Но все уже мертво. На западе водный простор отсекала бесконечная стена бетона с небольшим изгибом, ошестиненная кранами и блестящая в лучах солнца, бегущего прочь.

– Плотины, – пояснил Сонам. – Они затопили миллион квадратных километров земли. Теперь пора назад.

Мы сели обратно в такси, шофер развернул машину. Мы проехали поселок из четырех-пяти деревянных хижин, я не заметил его на том пути. Сонам велел остановиться.

– Выходим.

Отсюда также открывался вид на гигантскую лужу жидкого металла в шестистах метрах под нами.

– Эта деревня называется Цюй, – сказал Сонам.

– Что-то знакомое, – ответила Марианна.

– Это родная деревня Лао-цзы, согласно преданию. Знаете, древний учитель, «Дао дэ цзин»...

– Ну конечно! Поразительно, я как раз читаю «Дао дэцзин».

– Знаю, – сказал Сонам, – я видел вчера в ресторане, как книжка торчала у вас из сумочки.

Поэтому я и подошел к вам.

– Что там за фраза, Марианна, которую ты так любишь? – спросил я.

– Лучше не наполнять сосуда, чем желать, чтобы он оставался полон.

– Да, – сказал Сонам, – прекрасное изречение учителя. И хорошо вспомнить его здесь, перед плотиной.

Сонам долго смотрел на воду. Солнце скрылось, и часть ее поверхности стала как уголь. Глубокая тишина окутала нас, будто опустилась вместе с ночью. Лес безмолвствовал. Вокруг в крестьянских хижинах загорались окна. Те, кто избежал потопа, готовили ужин. Вдруг мы вздрогнули. Сонам заговорил снова:

– Однажды в этой деревне Лао-цзы поливал огород вместе с учениками. В руках у него была маленькая лейка, и он шел от растения к растению медленно, кропотливо поливая каждое. Один юноша сказал старому мудрецу: «Учитель, почему бы нам не прорыть небольшой канал, чтобы разом полить все растения?» Лао-цзы поднял носик своей лейки, посмотрел на ученика и сказал с улыбкой: «Никогда, друг мой! Кто знает, куда это нас заведет».

## Водосточная труба

*Водосточная труба дома по улице Манк  
О, ночная тропа дуболома к устам девиц!*

*Жак Перри-Сэлкоу (неизданная анаграмма)*

Она подставила руку, чтобы пепел не падал на кровать.

– Принесешь, милый? Пожалуйста.

– Где она? – спросил я.

– На кухне.

– Сейчас.

– Поклянись, что вернешься!

Я принес пепельницу и нырнул обратно в блестящую, влажную от пота постель. Кожа Марианны пахла так, как в балканских лесах пахнет после дождя земля. Дым от наших сигарет поднимался двумя колоннами, переплетаясь наверху.

– Любить – значит сливаться, растворяться, исчезать.

– Милый, кончай со своими изречениями из рекламы порошка.

– Ни за что.

Июньское солнце весь день раскаляло цинковый карниз. Накопленный за день жар расходился по квартире, как расходится волнами боль от коренного зуба. Десять вечера, город накрывается лиловым сумраком: ночь не принесла свежести. Дышать нечем еще с рассвета. Все теперь на террасах кафе, на балконах, на набережных, одичавшие, обалдевшие от духоты.

– Наверняка сегодня где-то умерли старики, – сказала она.

– Меньше голосов правым на муниципальных выборах.

Я раздавил окурочек, повернул Марианну на бок, обнял, прижался к ее спине, зарывшись носом в волосы. При взгляде на ее грудь слюнки текли и у новорожденных, и у стариков. Почти Венера Виллендорфская, только живот как у ныряльщиков без акваланга, кожа из рекламы молочных производителей, а голова как у прерафаэлитских мадонн. Синие глаза – карстовые воронки в скале ее лица. Когда я говорил ей что-то в этом роде, она отвечала, что лучше бы я нашел себе геологиню. Мы любили друг друга как в морзянке. Оба – пунктирные линии в ночи: наши несносные жизни позволяли нам урвать лишь редкие вечера. Тогда мы сознательно напивались, ходили голышом, ели виноград по яголке и дарили друг другу книжки, которые потом выкрадывали, чтобы посмотреть пометки друг друга. Но было на этой картине одно пятно: я делил ее с другим.

Три года назад она вышла за простого врача из Дюнкерка, и я воспринимал их союз как плевок в лицо «опасной жизни», воспетой Сандрамом, чьей необузданной энергией я восхищаюсь и которым прожужжал ей все уши. Муж, «доктор», как я его называл, был славным паренком, из прилежных: восемь лет учебы, чтобы понять, насколько хрупок человек. Он ободрял умирающего, умасливал артритчика и возбуждал старшеклассницу, принимавшую пальпацию за сигнал к действию. Он был врачом общей практики. И очень общих взглядов. Голубоглазый, светловолосый, рубашка в полоску – он лечил людей, а сам страдал тяжелой болезнью и не лечился: он был болен конформизмом.

– А ведь у этого человека та же профессия, что у Селина!

– Ты завидуешь, – говорила она.

– Селину?

– Нет, Седрику.

– Брак, милая, это смерть в рассрочку.

Мы познакомились прошлой зимой в скалолазном центре делового парижского пригорода Исси-ле-Мулино, где я обучал больших шишек, как изображать из себя обезьяну. Марианна пришла на подготовительное занятие. Она работала в кадровом отделе одного банка из стеклянных высоток на Дефанс и, как думают тысячи белых воротничков в Париже, считала, что вечернее лазанье по искусственным стенам может компенсировать просиженный в эргономичных креслах день, состоявший из рассылки имейлов страдающим от ожирения главам отделов.

Я провел ей инструктаж и дал схватиться за несколько зацепов на стене для новичков. У Марианны были задатки, и мне понравилось помогать ей надевать страховочную систему. Следующие три недели она приходила одна – записалась на мои занятия, – и одним декабрьским вечером, когда я должен был сам закрывать наш центр, мы занялись любовью в сауне после долгих упражнений на скалодроме с нависанием в пять градусов, когда я в натяг держал ее на страховке.

В эти три месяца судьба улыбнулась нам. Доктор проходил курсы повышения квалификации по тропической медицине. Раз в две недели он отправлялся на три дня в гостиницу «Новотель» за окружной трассой, где нельзя было даже открыть окна и где профессора посвящали его в тайны шистосомоза и жизненного цикла мухи цеце. Он уезжал в четверг – я заходил следом, – а возвращался в воскресенье, сразу после моего ухода. В этом вальсе не было ничего грязного: как любовник, я обладал швейцарской пунктуальностью, а у Марианны было сердце с двумя отсеками, и переборки в ее сознании отличались полной герметичностью. Главное в двойной жизни, чтобы в нее играли не все трое.

– Ответь, милая, или выруби эту мерзость.

– Нет, тянуться далеко.

У меня нет мобильного телефона, потому что я считаю неммыслимым хамством звонить кому-то, не спросив предварительно разрешения в письме. Я отказываюсь отвечать на звон каждого проходимца. Все так и жаждут нарушить нашу тишину... Мне нравится, как сказал Дега: «Так вот что такое телефон? Вам звонят, и вы бежите на звон как слуга?» Звонки дробят течение времени, ломают тягучую неспешность, рубят дни, как японский повар – огурцы.

Третий звонок, Марианна встала, взяла трубку потом вернулась в комнату:

– Занятия отменили, Седрик внизу, звонил спросить, купить ли хлеба. Он уже поднимается, мы пропали.

– Нет... – сказал я.

Скалолазание – боевое искусство. Восхождение по стенам закаляет тело, развивает особые группы мышц, улучшает концентрацию, учит управлять своими движениями, воспитывает чувство равновесия и выносливость, что составляет основу этого спорта. Но самое важное, что оттачивается здесь до совершенства, – это инстинкты. Когда лезешь, добровольно ставишь себя в невозможные положения, где опасности противостоят вдохновение, воображение, рефлекс. Лезть – значит продвигаться «с достоинством в неопределенности», как писал Шардон, идти по зыбким откосам, биться с неизвестностью. И встречать каскад западней, принимая жизненно важные решения, когда цена ошибки – смерть. Неожиданности никогда не приводили меня в ступор. Но в тот миг, когда Марианна вся обмякла, предчувствуя драму через полминуты, ситуация требовала изрядной гибкости ума и усилий.

Не знаю как, но меньше чем за тридцать секунд я оказался на подоконнике, полностью одетый. Марианна заправляла постель, я услышал щелчок двери, радостные восклицания.

«Ну и мерзавка все-таки», – подумал я.

Париж – неожиданный простор для лазанья. Стоит лишь окинуть город взглядом альпиниста, и городская география становится топографией. Улицы превращаются в ущелья, а стеклянные башни – в гладкие утесы, ровнее скал в Карраре. Соборы и церкви для меня – ажур-

ные вершины. Город предоставлял богатый рельеф. Шпили, башни, столбы, скаты, пинакли, контрфорсы: даже словарь горных гидов впитал эту готическую лексику. По ночам мы с парой друзей тайно совершали набеги на архитектурные памятники. Нотр-Дам, Сакре-Кёр, Сен-Жермен-л'Осеруа не имели от нас секретов. Мы терпели Париж, потому что ночью могли разгуливать по его каменным садам. Взбираться – значит ускользать из загона для людей. Мы гладили горгулий, давали клички каменным чудушам. Мы ходили парапетами, жили, балансируя на грани. Нам нравились соборы, эти монстры, угодившие в эпоху, где все забыли, что значит тайна. Мы были кошками, и город дарил нам свои водосточные трубы. С вершин этих мачт мы следили за его каменным флотом. Порой ветер чуть покачивал деревянные шпили, баюкая наши сонные тела. Наши ночи пахли тесаным камнем. Мы знали пути к таким караульным высотам, откуда открывался вид на сплошной световой ковер, который непосвященные упрямо называют городом.

Квартира Марианны находилась на восьмом этаже дома в Латинском квартале, под самой крышей, напротив церкви Сен-Северен. По фасаду спускалась литая водосточная труба. Заклепки смотрелись прочными. Я просунул руки за трубу и, стараясь не создавать рычаг, одной ногой уперся в крепеж, вторую втиснул между трубой и стеной. Штукатурка захрустела под подошвой и полетела вниз крупными коростами. Нога скользнула по трухлявой отделке, я напряг руки, труба шевельнулась, и крепеж напротив моего лица выскочил из стены. Я подтянул тело как можно плотнее к трубе, чтобы нагрузить вертикаль, и уперся носком ноги в лепную рамку окна на седьмом этаже, чтобы перенести часть веса. В Париже, на узких улочках, фонари крепятся прямо к стенам домов на высоте второго или третьего этажа и ослепляют прохожих. Снизу никак не разглядеть, что под крышей. Никто не мог меня заметить, я висел в двадцати метрах над землей, обняв трубу, в полном одиночестве, и мне предстоял спуск без малейшего права на ошибку. У меня был богатый опыт по части фасадов домов. Когда меня звали на ужин, я частенько входил через окно. Мне нравилось стучать в стекло, удивлять гостей, пугать хозяек. Некоторые бледнели и после секундных колебаний впускали меня. Один старый американец, книготорговец из Латинского квартала, чуть не умер с испуга, когда я появился в окне его гостиной на четвертом этаже в день его рождения. А однажды летней ночью я шел к англичанке, жившей в районе Батиньоль, и забыл этаж: тогда я полез, принохиваясь к ароматам из окон, пока на пятом этаже не узнал ее духи. В другой раз, ранним утром, мне пришлось слезать обратно с высоты шестого этажа, потому что того требовал какой-то мужчина, взяв меня на мушку не то ружья, не то зонта. Поскольку я не был уверен, что у него в руках, я подчинился. Как-то ночью водосточная труба оторвалась от стены, и я стал медленно заваливаться назад, в пустоту, но успел ухватиться рукой за перила балкона, при этом правой я все еще держался за вырванную трубу. В следующий раз я лез босиком и сильно поцарапал палец на ноге, так что оставил на фасаде длинный кровавый след, наверняка давший пищу для фантазий жильцов. А как-то утром я проснулся на балконе шестого этажа на улице Бельшас, не имея ни малейшего понятия, сколько стопок водки выпил накануне внизу.

На пятом этаже я замер ненадолго, пытаюсь уловить, что происходит у Марианны. Никаких криков, все спокойно под небом Парижа, так что я продолжил спуск.

На третьем этаже я схватился за лепную рамку окна, чтобы обогнуть торчащий из стены фонарь, и она рассыпалась в руке. Я падал молча, напрягшись всем телом, и казалось, что я застыл в воздухе, а дом пронесится передо мной. Кому доводилось падать в пропасть, говорят, что время замирает. Наверное, мозг предчувствует неотвратимый финал и старается прожить оставшиеся секунды по полной. Мне казалось, что позвоночник взорвался, и что хруст точно разбудил весь квартал. Теряя сознание, я уже знал, что это перелом. Я всем весом приземлился на пятки и с дикой силой отлетел на тротуар спиной, ударившись головой.

– Вы в порядке?

– Нет.

Надо мной склонились две старушки.

– Вы можете подняться?

– Нет.

Из магазинчика на первом этаже вышел вьетнамец.

– Нужно позвонить куда-то, – сказала одна из старушек.

У нее были длинные жесткие волосы и синевато-бледное лицо – прелестный образ, чтобы унести с собой в могилу.

– Спасателям! – сказала она вьетнамцу.

– Они ездят долго, – возразил он. – Тут врач на восьмой этаж. Я позвони.

– Ни в коем случае, – прошептал я.

– А потом я звони спасатели.

И он скрылся в своей лавке. Старушка с трудом опустилась рядом и погладила меня по лбу сухой и теплой рукой. Похоже, ей довелось хоронить детей. Из уха у меня текла кровь.

– Скажите, чтоб он не беспокоил врача.

– Вы слишком любезны, – ответила она, – не волнуйтесь.

Он явился через минуту. С челом причастника в предвкушении благодати. Глаза полны человеколюбия. Но даже профессиональные жесты не скрывали его вялость. А слишком упитанные щеки делали похожим на хомячка, росшего у пастора при приходе.

– Что с вами случилось?

– Он упал прямо у нас на глазах, – сказала старушка. – С фонаря! На спину! Звук был ужасный, такой влажный хруст.

Повернув голову, я заметил за приоткрытой подъездной дверью Марианну, она незаметно спустилась за мужем и смотрела на меня, не решаясь переступить порог. Жалостливое выражение лица совсем ей не шло. Жестокость красила ее куда больше.

– Можете пошевелить пальцами ног? А рук? – спрашивал врач.

Хотел бы я вмазать ему как следует, но не мог и руку поднять из-за острой боли. Меня беспокоило, как болит спина, и казалось, что пятки горят.

– На руках могу, на ногах еле-еле, но такое чувство, будто пятки отнялись.

– А что вы делали наверху? – спросил он.

– Я орнитолог, там гнездо у скворцов.

Он промолчал, потому что я как раз завопил, когда он попытался снять мне ботинок. Я лежал так, что видел дом и то, как Марианна закрыла лицо руками. Не знаю, рыдала ли она над моей участью или не хотела наблюдать эту непристойно нелепую сцену.

– Раз вам так больно, у вас перелом пяточной кости.

– Я теперь не чувствую ступни, – сказал я.

– Вот-вот. Компрессионный перелом. Это надолго.

И он с довольным видом, привыкший очаровывать бабушек, приправляя диагноз светским анекдотом и не понимая, насколько глупо разглагольствовать, стоя над лежащим в канаве человеком с травмой, прибавил:

– Среди врачей это называют «переломом любовников». Потому что они прыгают с балкона, скрываясь от мужей.

– Какая все-таки фантазия у врачей! – восхитилась старушка.

Приехали спасатели, улица озарилась синим, вьетнамец закрыл витрину, старушка поднялась, хрустя суставами, Марианна скрылась в подъезде, врач позаботился, чтобы они непременно наложили шину, и улыбнулся мне, прежде чем захлопнулись дверцы машины.

## Изгнание

*Я прожил молодость во мраке грозовом,  
И редко солнце там сквозь тучи проникало.  
Мой сад опустошить стремились дождь и гром,  
И после бури в нем плодов осталось мало.*

*Бодлер. Цветы зла<sup>5</sup>*

Дождя не было с марта. Сентябрьская земля походила на пепел, в воздухе пахло железом. Мухи летали, не садясь: даже рот не открыть.

Провожать пришли все. Сейчас подъедет такси и увезет его в Буанду. Пришел и глава деревни, и учитель, и мулла, и все родственники, племянницы, братья и сестры. Все обступили Идриса.

На руках у Большой Мамы что-то спало: новый ребенок. Живот матери Идриса производил детей на свет безостановочно, будто у ее обрюзгшей матки икота. Трех она потеряла в младенчестве. Осталось девять. Она рыла детские могилки, не проронив ни слезы, и только думала, что Земля последнее время стала слишком скупой, раз не хочет превращать в зелень всю ту плоть, что щедро скормливают ей люди.

Соседи тоже пришли. И не только из дружеских чувств: однажды они напомнят, что были здесь в этот день.

Все ждали, жарясь под солнцем. Оно было как огромный белый шар. И не давало надежды. Черная кожа лоснилась как гудрон. Свет мешал смотреть. Тени от надбровных дуг тянулись до острых скул.

Над кучами мусора кружились коршуны. Корова жевала покрывку за глиняной хижинкой. У помойки на углу площади лаяли собаки, как раз напротив того заворота, куда подъезжало общее такси. Донесся азан: усиленный китайскими колонками голос муллы Али Аулд Мума, родом с холмов Аира, прорывался сквозь зной и сзывал на молитву.

В руке Идрис держал спортивную сумку «Ададис». Откровенная подделка. Подпольные модельеры воспроизвели и значок-лотос, и три полоски, но подвела орфография. Юноша скинул туда все, что у него было. А деньги, плотно уложенные в два пакета, были туго привязаны под одеждой к животу тканевым ремнем, который сшила накануне Большая Мама. Пять тысяч долларов. Сумму собирали четыре года. Чуть больше тысячи долларов в год – вот сколько выходит, если всей семьей вывернуть карманы. Клич кинули всем: и дядьям, и теткам, и нескольким дальним родственникам. И даже Большой Папа, который всегда жил вольно, кутаясь в свой белый тагельмуст, знал, что его крепко держат за яйца.

«Досчитаю до пятисот, – решил Идрис, – если машина за это время не приедет, у меня ничего не получится».

«Мерседес 500» 1962 года выпуска затормозил, подняв облако пыли, где-то на двухстах девяноста двух.

Внутри уже сидели пятеро. Прижав Большую Маму к сердцу, Идрис почувствовал, как высохли ее груди.

«Как и небо», – подумал он.

---

<sup>5</sup> Пер. В. В. Левика.

Отец обнял его, положив руку на затылок, как в детские дождливые годы. Мелкие молчали, видно, растерялись, будто увидели рогатую гадюку у колодца. Они висли друг на дружке и кусали кулаки.

Никто не крикнул «Удачи!», все провожали впервые. Никто не знал, как надо прощаться. Махание платочками на обочине – это для тех, у кого есть лишний лоскут.

Пассажиры подвинулись, давая втиснуться. Хлопок дверцы, «мерседес» тронулся, подняв над землей поеденный зверьем целлофановый пакет, который завис ненадолго в жарком воздухе и медленно опустился, как знамение, к ногам тех, у кого не было сил даже поднять руку.

Такси высадило Идриса напротив бывшей алюминиевой фабрики, в пятнадцати километрах от города. Он прождал восемь часов. Жара не спадала, и только солнце растворилось в мареве, скрывающем дюны. Пришел грузовик. Идрис узнал Юсефа, алжирца, который предложил помочь и с которым они сговорились месяц назад.

– Ты при деньгах, брат?

– Да.

– Давай.

Идрис задрал рубашку и протянул ему одну пачку.

– Половина, – сказал он.

– Как договаривались, – кивнул Юсеф.

– Как договаривались.

Алжирец пересчитал. Он перебирал банкноты с удивительной быстротой. Идрис смотрел, как ходит туда-сюда большой палец – точно поршень. «Видно, привык», – подумал он. Потом глянул на грузовик, не глушивший мотор. Это был старый «берлие», еще со времен французов. Ему было лет шестьдесят. В кузове без брезента сидело человек пятьдесят, некоторые старше него. У всех было по спортивной сумке в руке, а другой рукой они держались за стальной каркас. Все разглядывали Идриса.

«Мрази», – подумал он.

Юсеф щелкнул языком, сунул две тысячи долларов в карман куртки. У него был сломанный нос, курчавая козлиная бородка, переходящая в тонкую полоску до висков, удивительно белые зубы, и пах он чистотой.

– Пошли.

Идрис взобрался, протиснулся плечом вперед и оказался среди призраков.

Огни города зажигались оранжевыми точками.

В закатных лучах виднелись барханы. Солнце умирало не сразу. Идрис повторял про себя расчеты: «Две тысячи и две тысячи – это четыре. По приезде у меня останется тысяча».

Четыре тысячи долларов – столько должен был отдать нигериец алжирским перевозчикам, чтобы оказаться у границы Шенгена.

От ям на дороге тряслись звезды. Сиял Южный Крест. Идрис жадно смотрел на него, потому что знал, что там, на севере, в этих христианских царствах его уже не будет.

Грузовик ехал на север. Пересек семнадцатую параллель. Агадес позади. Потом миновали и холмы Арли, а с ними и весь Аир. У алжирской границы Юсеф съехал с дороги и повел машину на северо-запад, курсом на 320 градусов. Он хотел проехать пустыней, в обход территорий, подконтрольных войскам.

Они вязли в песке. Тогда пассажиры слезали и откапывали грузовик. Идрис ходил в школу. Он помнил оттуда все. А потому чувствовал себя как раб на древнеримских галерах, который толкал вперед свою же тюрьму. Они часами рыли песок, подкладывали специальные планки под колеса и толкали грузовик в рассыпающихся колеях. А только он снова поедет,

нужно было бежать и запрыгивать в кузов на ходу потому что останавливаться нельзя. Юсеф даже не глядел в зеркало заднего вида. Если кто-то отстанет, это не его проблема.

На третий день ночной остановки не было. Юсеф и его подручные – два мозабита с лихорадочными лицами – вели машину погасив фары, по навигатору. Он знал, что земли возле двадцатой параллели разоряют мятежники-фундаменталисты. Уже нарвавшись дважды на рэкетиров, алжирский перевозчик не хотел пополнять салафитские фонды в третий раз.

За песчаными плато на востоке светало. Грузовик шел по Алжиру. Зубцы лавовых скал проступали из темноты. Эрги, эти дюнные моря, подкатывали бледные приливы к их подножьям. Солнце прошло над кромкой скал, воздух становился жарче, и все обматывались платками. В полудреме перед глазами Идриса мелькали лица матери и отца, сцены из школы, их стадо. Но ему не было грустно. К чему такая жизнь, где от воспоминаний не легче, да и они сразу блекнут.

Близ Таманрассета Юсуф сделал остановку у Мулуда, туарега, скотовода и члена их сети с 2002 года. Тот снабжал обозы водой и топливом. Заправились, пополнили запасы.

И снова грузовик погнал вперед, вдали от асфальтового полотна Транссахарской магистрали, соединяющей юг страны с побережьем через Ин-Салах. Это были три тысячи километров ада. Даже верблюды, которых возят по стране из конца в конец, ездят с большим комфортом. Идрис подумал, что быть животным в этом мире легче. Вас водят пастись, вы спите в тени акаций, а потом нож скользнет внезапно по горлу, и песок выпьет вашу кровь.

Людская масса танцевала на колдобинах. Места в кузове были на вес золота. Потасовки размечали часы: крики и оскорбления перекрывали рев мотора. Раздавались удары, разбивались губы, и оцепенение возвращалось. На пятое утро не досчитались одного. На заднем борту была кровь. Идрис видел в лунном свете, как двое всадили в него нож и скинули за борт. Он закрыл глаза и снова уснул. Сон унес видение.

От смешавшихся тел поднимались молитвы и храп. Люди стонали во сне, просыпались, когда голова билась о борт, и снова погружались в небытие. Сон был для них как бальзам. Никто почти ничего не ел, а пили розоватую теплую воду, от которой мутило – она стекала по горлу как масло.

– Ля иляха илля Ллах.

Сосед Идриса бормотал под нос суры, навалившись ему на колени всем телом. В лучшие свои годы старик совершал хадж. Идрис потряс его:

– Ты на меня лег.

– Ля иляха илля Ллах, – повторил тот растерянно.

И грузовик несся дальше в зное Сахары, как вирус по крови, оставляя за собой зигзаги дыма и песка. Светили звезды, им было плевать на страдания людей. И людям оставалось лишь выкручиваться, чтобы жизнь окончательно не превратилась в ад.

Воздух стал другим. В нем явно чувствовался чуть кисловатый запах, как от размятых листьев портулака. Люди песков не знали, как пахнет йод. Они жили на пляжах без моря, засушливых берегах, откуда старались сбежать с тех пор, как пришла засуха. На закате десятого дня Юсеф остановил грузовик перед откосом пустынной известняковой бухты. Ждали долго.

Средиземное море дрожало веселой рябью. От солнца каждый всплеск вспыхивал на какую-то долю секунды. Блики мерцали на сине-черном ковре, и Идрис не мог оторваться от зрелища.

Он знал только застывшие пейзажи. Дюны, вадии, песчаные плато – все это мертвые формы. Когда же ветер или буря совершали свои набеги, весь мир застилала пелена пыли, и люди Сахары прятались в палатках. Так что никто не наблюдал, как меняется все вокруг. Новый пейзаж видели, только когда буря стихала. И пустынная жизнь текла в чередующихся картинах.

Море явилось Идрису как живая энергия, неустанно повторяющая свой сложный танец. Он понял, что предстоит пересечь эту движущуюся массу.

Корабль пришел на следующий вечер. Это был стальной сорокаметровый траулер, уже отслуживший свое на Алжирском побережье и теперь приспособленный для подпольных перевозок. Обычно перевозчики брали вторую половину суммы во время посадки, потом человеческое стадо загонялось в межпалубное пространство и больше почти не видело неба, пока не появится на носу берег Европы. Веками на этом самом побережье арабы нагружали трюмы «черным мясом». Теперь же рабы сами оплачивают перевозку.

Ступая в шлюпку, на которой их по шесть человек отвозили на борт, Идрис подумал, что больше не увидит Африку. Все его существование будет посвящено тому, чтобы поддерживать жизнь тридцати человек: родителей, друзей и соседей, оставшихся там. Они возлагали все свои надежды на Идриса. И он оправдывает их: каждый месяц он будет посылать им плоды, которые сможет пожать. Он будет вкалывать без продыху, ради своих.

А они будут думать, что он в раю.

В полночь судно снялось с якоря. Море было беспокойное, дул ветер с Сицилии, и с каждым часом волны крепчали. Когда началась качка, зажатые между палуб люди испуганно переглянулись при блеклом свете. Потом первые, кому стало дурно, ринулись наружу, увлекая за собой остальных. Противились морской болезни только те, кто слишком боялся выпустить из рук опору. Идрис вышел в единственный доступный им проход и перегнулся через борт. Но увидев, как море то глотает, то выплевывает жестяной бок судна, почувствовал такую хрупкость всего, что решил вернуться внутрь, где среди воняющей цепенели его попутчики. И ввериться судьбе.

Утром третьего дня показался берег.

Пробежал слух: «Италия!»

Идрис жадно вглядывался в прибрежные склоны холмов. Море успокоилось, ветер стих. К югу виднелось белое пятнышко портового города. Издалека многоэтажки походили на куски сахара. Идрис подумал, что последние пять лет он жил в предвкушении этого мига: когда он ступит на берег Эльдorado. На той земле все станет возможным.

Он вспомнил деревню, и как горевала семья, когда от засухи пала половина их стада верблюдов, и тот июльский день, когда лучшая самка вздулась и сдохла. И как кричали ночью мелкие, потому что не наелись. И мертвую тишину в палатке за деревней, когда в шесть утра солнце, едва взобравшись на гребень дюн, уже накаляло воздух как в полдень. А потом он ни о чем уже не думал, потому что судно остановилось и Юсеф стал бегать по лестницам как одержимый, выкрикивая приказы.

Высаживаться надо было быстро. Чтобы рассеяться по пустынному берегу раньше, чем нагрянет патруль. Итальянская *Guardia Costiera* была не так активна, как испанская или французская береговая охрана, но их катера все же встречались. Шлюпка носилась между судном и берегом, выжимая все возможное из мотора в тридцать пять лошадиных сил. Через три рейса алжирцы заставили нигерийцев лезть в рассчитанную на шестерых лодку сразу по пятнадцать человек. В шлюпке плескалась вода. Никто из пассажиров не умел плавать. Но Юсефу было плывать.

Полсотни босых людей сидели на песке и смотрели, как уплывает вдаль траулер. Эта удаляющаяся точка была последним, что связывало их с Африкой. Нить обрывалась.

Идрис поднял ворот куртки. Холодно в этой Италии!

У него была тысяча долларов в кармане и нужный контакт в Париже.

Бубу Дьюла – нигериец, который помогал своим соотечественникам найти угол, работу и оформить бумаги – за некоторую комиссию. Стервятник.

Когда Идрис договаривался с Юсефом в деревне, тот клялся матерью своей матери, что высадит его во Франции, и вот он в Италии, в двух с лишним тысячах километров от цели. Одно слово – араб.

Но кому жаловаться? Он представил, как стучится к карабинерам и просит схватить алжирца, который не держит клятвы. И отправился в путь.

Он научился отыскивать еду в ящиках с гнильем на задворках рынков, кормиться тем, что растет вдоль сельских дорог: шелковицей в осенних рощах, грушами, сливами и яблоками. Он медленно продвигался на север. Спал на автозаправках, сеновалах, под раскидистыми буками в лесах, а однажды – в заброшенном заводе, где у сов была сладкая жизнь. Как-то раз перед остановкой, где он провел ночь, затормозила фура, и дальнобойщик подбросил его на пятьсот километров. Когда Идрис уже выходил, тот дал ему десять евро и попросил отсосать. Идрис бросил деньги и убежал, и больше никогда не смотрел людям в глаза. Он шел подолгу, обходя города и довольствуясь хлебом. Пил родниковую воду, и вода была вкусной. Впервые увидев фонтан в деревеньке посреди Аостской долины, Идрис хотел предупредить прохожих, что прорвало трубу, и вода течет зря. Он остерегался собак, которые, почуяв темнокожего, шли за ним озлобленно, растравленные тысячетлетней мелкобуржуазной дрессировкой. Его мучил холод, но не расстояния: он привык к долгим переходам без отдыха, а после каменной пустыни неровный асфальт европейской глубинки был для его тугих мышц как ковер.

Сырым утром, когда нужно вставать, а в желудке пусто, и даже чай не обжигает горло долгим жаром, он думал, для чего эта жизнь, в которой весь выбор – печься заживо под солнцем Аллаха или подышать от холода в канавах у неверных.

А потом был Париж, и надо было навести мосты. Он вышел на Дьюлу. Ему подыскали комнату в пригороде, в Оне-су-Буа. Эти пятнадцать квадратов он делил с четверьмя парнями его же возраста. Все они были из Мопти и с ним не разговаривали. Место ему оставили похуже: матрас в пятнах, у самой двери. Раковина текла.

Организация «За право передвижения» предложила ему бесплатные курсы французского. Ему рассказывали о тонкостях юридической системы, где каждый закон можно обойти. Он представлял государственный аппарат как крепость, чья стена изобилует незаметными трещинами и потайными дверцами, о которых знают лишь посвященные. Белые женщины средних лет с небольшим животиком, в очках с красной оправой и с короткими, иногда крашенными, волосами, старались помочь ему как могли. Они не очень ему нравились: говорили сухо, хотя и были крайне предупредительны. Они гордились собой, что так ему помогают. Эти женщины смутно его раздражали, но он молчал. На встречах они колебались между материнской заботой о юных изгнанниках и желанием, чтобы их насадили на черный член за этим же самым столом.

Он привык к такой жизни мучного червя, среди бетона, дыма и толпы. К безжизненным лицам, обрюзгшим белым телам. Смотрел, как между бетонными башнями скользит бессильное солнце Запада. А в пустыне оно палит.

Дьюла нашел ему работу. Тысяча евро в месяц, из них две сотни – его комиссионные. В остатке – восемьсот. Сто за комнату, сто на еду, пятьдесят на метро, сто на мелкие траты. Значит, он каждый месяц сможет отправлять в Буанду четыреста пятьдесят евро. В таком темпе переезд окупится месяцев за девять-десять, а дальше все это богатство потечет к своим.

Как только Идрис получал на руки деньги, он шел в «Вестерн Юнион» на бульваре Мендеса-Франса, в двух кварталах от его жилья, и заполнял бланк на экспресс-перевод. Деньги шли сорок восемь часов. Он представлял, как Большой Папа стоит в своих солнечных очках и ждет общее такси в Буанду, где заберет деньги. Это было главным утешением в его жизни. Остальное же время он мучился как дворняга. В голове погонщика верблюдов, пропеченной солнцем Сахары, поднимались сожаления, которые он старался задавить. А все эти люди – как они встают по утрам, напяливают серые робы, затягивают на шее хомут и снова идут куда-то?

Хотя время от времени кто-то все же бросался на рельсы метро. Тогда из громкоговорителей объявляли часовой перерыв в сообщении и все сердито махали руками...

Или так, или пустыня, где с трудом выживают и полоски акаций, и стада хилых верблюдов.

Воскресенья Идрис проводил в постели. «Там – палатка, здесь – эта комната, – думал он. – А между – Юсеф со своей бандой трясется на старом “берлие”».

Каждое утро он ехал в Париж. Идрис закрывал глаза и представлял маршрут. Комната, лестница в подъезде, улица, эскалатор, метро, снова эскалатор, улица, вот он на месте. Жизнь – одни спуски и подъемы, медлительный ритм. Дни катятся как волны.

Войдя на территорию компании, он открывал ключом свой шкафчик, надевал комбинезон, кепку, зашнуровывал защитные ботинки, получал указания, брал все необходимое и отправлялся на поиски доставшейся ему витрины. Клининговая компания «Топ Чист» обслуживала центральные районы.

В тот день Идрис чувствовал себя особенно выжатым.

– Идрис, у тебя дом сто двадцать три, бульвар Распай. Две витрины, вывеска и раздвижные двери. И поживее, одна нога здесь, другая там, – распорядился с утра мсье Мишель.

Дождя не было, но водяная пыль застилала витрины магазинов крошечными бусинками. Париж был словно в облаке. Идрис представился девушке за стойкой.

– А, окна сегодня моют? Давайте, конечно.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.